

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
Факультета Компьютерных Наук

_____ А. А. Харламов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

**ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА(ПО МОТИВАМ ЛЕКЦИИ А.Р.ЛУРИИ
«ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ»)**

Исполнители:

Студентка группы БПИ-245

_____ / М. В. Горбачева /

«___» _____ 2026 г.

**ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА(ПО МОТИВАМ ЛЕКЦИИ А.Р.ЛУРИИ
«ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ»)**

Реферат

Листов 28

АННОТАЦИЯ

Реферат - это краткое изложение содержания документа или его части, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему.

Сущность реферата – в кратком изложении (с достаточной полнотой) основного содержания источника. Составление рефератов – это процесс аналитико-синтетической переработки первичных документов. Реферируется преимущественно научная и техническая литература, в которой содержится новая информация.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. Проблема языка и сознания	5
2.1. Существует ли язык у животных?	13
3. Слово и его семантическое значение	17
3.1. Происхождение слова. Путь от симпрактического к синсемантическому строению слова .	17
3.1.1. Семантическая структура и функция слова	21
3.1.2. Слово и «смысловое поле»	23
3.1.3. Категориальное значение слова	24
4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	28

1. ВВЕДЕНИЕ

Данный реферат строится на анализе лекций Александра Романовича Лурии. А.Р. Лурия - (1902–1977 гг.) — человек, который открыл психологам, врачам и педагогам двери в тайны человеческого мозга. Его идеи повлияли как на отечественную, так и на мировую науку. Он стал одним из основателей нейропсихологии, а впоследствии его идеи развились в очень популярную сегодня научную область, которую называют нейронауками об образовании (о том, как познавательная деятельность устроена на уровне работы мозга). Лурия работал и с детьми, и со взрослыми, исследовал речь, мышление, память, эмоции и то, как культурная среда формирует психику.

Его методики помогли тысячам раненых солдат вернуться к полноценной жизни после тяжёлых травм мозга, а также легли в основу диагностики нарушений развития и обучения детей с ОВЗ (Лурия преподавал в Московском Педагогическом дефектологическом институте). Теории Лурии и его коллег заложили основу для идей развивающего обучения.

Лурия имел докторскую степень по педагогике и медицине, был профессором. Он писал о своей работе не только сухим научным, но и живым, образным языком. Благодаря гуманистическому подходу и вниманию к человеку, а не только к диагнозу, он сумел влюбить в науку о мозге широкую публику.

Главные труды Лурии о познавательных функциях мозга: «Речь и развитие психических процессов у ребёнка», «Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребёнка», «Язык и сознание», «Основы нейропсихологии», «Нейропсихология памяти», «Мозг человека и психические процессы», «Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование», «Маленькая книжка о большой памяти».

2. Проблема языка и сознания

Проблема психологического строения языка, его роли в общении и формировании сознания является едва ли не самым важным разделом психологии.

Анализ того, как строится наглядное отражение действительности, как человек отражает реальный мир, в котором он живет, как он получает субъективный образ объективного мира, составляет значительную часть всего содержания психологии. Самое существенное заключается в том, что человек не ограничивается непосредственными впечатлениями об окружающем; он оказывается в состоянии выходить за пределы чувственного опыта, проникать глубже в сущность вещей, чем это дается в непосредственном восприятии. Он оказывается в состоянии абстрагировать отдельные признаки вещей, воспринимать глубокие связи и отношения, в которые вступают вещи. Каким образом это становится возможным, и составляет важнейший раздел психологической науки. В.И. Ленин подчеркивал, что предметом познания, а следовательно, и предметом науки, являются не столько вещи сами по себе, сколько отношения вещей. Стакан может быть предметом физики, если анализу подвергаются свойства материала, из которого он сделан; он может быть предметом экономики, если берется ценность стакана, или предметом эстетики, если речь идет о его эстетических качествах. Вещи, следовательно, не только воспринимаются наглядно, но отражаются в их связях и отношениях. Следовательно, мы выходим за пределы непосредственного чувственного опыта и формируем отвлеченные понятия, позволяющие глубже проникать в сущность вещей. Человек может не только воспринимать вещи, но может рассуждать, делать выводы из своих непосредственных впечатлений; иногда он способен делать выводы, даже если не имеет непосредственного личного опыта.

Если дать человеку две посылки силлогизма: «Во всех районных центрах есть почтовые отделения. X — районный центр», он легко сможет сделать вывод, что в месте X есть почтовое отделение, хотя он никогда в этом районном центре не был и никогда о нем ничего не слышал. Следовательно, человек может не только воспринимать вещи глубже, чем это дает непосредственное ощущение восприятия, он имеет возможность делать заключение даже не на основе наглядного опыта, а на основе рассуждения. Все это позволяет считать, что у человека есть гораздо более сложные формы получения и переработки информации, чем те, которые даются непосредственным восприятием. Сказанное можно сформулировать иначе: для человека характерно то, что у него имеет место не только чувственное, но и рациональное познание, что человек обладает способностью глубже проникать в сущность вещей, чем позволяют ему его органы чувств, иначе говоря, что с переходом от животного мира к человеческой истории возникает огромный скачок в процессе познания от чувственного к рациональному. Поэтому классики марксизма с полным основанием говорили о том,

что переход от чувственного к рациональному не менее важен, чем переход от неживой материи к живой.

Все это можно иллюстрировать на одном примере из фактов эволюционной психологии. Я имею в виду тот опыт, который известен как опыт Бойтендайка и который лучше других показывает отличие мышления человека от мышления животных. Наблюдения проводились над рядом животных, принадлежащих к различным видам: над птицами, собаками, обезьянами. Перед животным ставился ряд баночек. На глазах животного в первую баночку помещалась приманка, затем эта приманка закрывалась. Естественно, что животное бежало к этой банке, переворачивало ее и брало приманку. В следующий раз приманка помещалась под второй баночкой, и если только животное не видело эту приманку, помещенную под новой баночкой, оно бежало к прежней банке, и лишь затем, не найдя приманки, бежало ко второй, где и получало приманку. Так повторялось несколько раз, причем каждый раз приманка помещалась под следующую баночку. Оказалось, что ни одно животное не может разрешить правильно задачу и сразу бежать к следующей баночке, т.е. оно не может «схватить» принцип, что приманка перемещается в каждую следующую баночку ряда. В поведении животного доминируют следы прежнего наглядного опыта и отвлеченный принцип «следующий» не формируется.

В отличие от этого маленький ребенок, примерно около 3,5-4 лет, легко «схватывает» принцип «следующий» и уже через несколько опытов тянется к той баночке, которая раньше никогда не подкреплялась, но которая соответствует принципу перемещения приманки на следующее место.

Это значит, что животное в своем поведении не может выйти за пределы непосредственного чувственного опыта и реагировать на абстрактный принцип, в то время как человек легко усваивает этот абстрактный принцип и реагирует не соответственно своему наглядному прошлому опыту, а соответственно данному отвлеченному принципу. Человек живет не только в мире непосредственных впечатлений, но и в мире отвлеченных понятий, он не только накапливает свой наглядный опыт, но и усваивает общечеловеческий опыт, сформулированный в системе отвлеченных понятий. Следовательно, человек, в отличие от животных, может оперировать не только в наглядном, но и в отвлеченном плане, глубже проникая в сущность вещей и их отношений.

Таким образом, в отличие от животных, человек обладает новыми формами отражения действительности — не наглядным чувственным, а отвлеченным рациональным опытом. Такая особенность и характеризует сознание человека, отличая его от психики животных. Эта черта — способность человека переходить за пределы наглядного, непосредственного опыта и есть фундаментальная особенность его сознания. Как же объяснить факт перехода человека от наглядного опыта к отвлечен-

ному, от чувственного к рациональному? Эта проблема составляла коренную проблему психологии за последние сто или более лет.

В попытке объяснить этот важнейший факт психологи в основном разделились на два лагеря. Одни — психологи-идеалисты — признавали фундаментальный факт перехода от чувственного к рациональному, считая, что, в отличие от животных, человек обладает совсем новыми формами познавательной деятельности, но не могли подойти к анализу причин, вызвавших этот переход, и, описывая этот факт, отказывались объяснить его. Другие — психологи-механицисты — пытались детерминистически подойти к психологическим явлениям, но ограничивались объяснением только элементарных психологических процессов, предпочитая умалчивать о сознании как о переходе от чувственного к рациональному, игнорируя эту большую сферу и ограничивая свои интересы только элементарными явлениями поведения — инстинктами и навыками. Эта группа психологов отрицала проблему сознания, специфического для поведения человека. К этому лагерю относятся американские бихевиористы.

Психологи-идеалисты (такие, как Дильтей, Шпрангер и др.) считали, что высший уровень абстрактного поведения, которое определяется отвлеченными категориями, действительно является характерным для человека. Но они сразу же делали вывод, что этот уровень отвлеченного сознания есть проявление особых духовных способностей, заложенных в психике человека, и что эта возможность выйти за пределы чувственного опыта и оперировать отвлеченными категориями есть свойство духовного мира, который налицо у человека, но которого нет у животного. Это было основным положением различных дуалистических концепций, одним из самых ярких представителей которых был Декарт. Основное положение учения Декарта, как известно, заключалось в следующем: животные действуют по закону механики и их поведение можно объяснять строго детерминистически. Но для человека такое детерминистическое объяснение поведения не годится. Человек, в отличие от животного, обладает духовным миром, благодаря которому возникает возможность отвлеченного мышления, сознательного поведения; он не может быть выведен из материальных явлений, и корни его поведения уходят в свойства духа, которые нельзя объяснить материальными законами. Эти взгляды и составляют сущность дуалистической концепции Декарта: признавая возможность механистического объяснения поведения животного, он одновременно считал, что сознание человека имеет совершенно особую, духовную природу и что подходить к явлениям сознания с тех же детерминистических позиций нельзя.

На близких к Декарту позициях стоял и Кант. Для Канта, как известно, существовали апостериорные категории, т.е. то, что выводили из опыта, полученного субъектом, и априорные категории,

т.е. категории, которые заложены в глубинах человеческого духа. Суть человеческого познания, говорил Кант, и заключается в том, что оно может выходить за пределы наглядного опыта; это **трансцендентальный процесс**, т.е. процесс перехода от наглядного опыта к внутренним сущностям и обобщенным рациональным категориям, заложенным в существе человеческого духа. Представления кантианства оказали влияние на идеалистическую мысль и в XX столетии. Крупнейшим неокантианцем является немецкий философ Кассирер, автор фундаментального труда «Философия символических форм». По мнению Кассирера, для человеческого духа свойственны символические формы, которые проявляются в знаках, в языке, в отвлеченных понятиях. Человек тем и отличается от животного, что он оказывается в состоянии мыслить и организовывать свое поведение в пределах «символических форм», а не только в пределах наглядного опыта. Эта способность мыслить и действовать в символических формах является результатом того, что человек обладает духовными свойствами; для него характерны абстрактные категории мышления, отвлеченные духовные принципы сознания. По мнению философов идеалистического лагеря, эти принципы можно лишь описывать, но нельзя объяснить, и на этом своеобразном утверждении строится вся современная феноменология — учение об описании основных форм духовного мира; вершина этого учения была достигнута в работах немецкого философа Гуссерля.

Феноменология исходит из следующего простого положения: ни для кого нет никаких сомнений, что сумма углов треугольника равняется двум прямым; это можно изучать и описывать, но бессмысленно задавать вопрос, почему именно сумма углов треугольника равняется двум прямым, что может быть причиной этого. Этот факт дан как известная априорная феноменологическая характеристика геометрии. Вся геометрия, построенная по строжайшим законам, доступна изучению и описанию, но не требует такого объяснения, как, например, явления физики или химии. Точно так же, как мы описываем геометрию, мы можем описывать и феноменологию духовной жизни, т.е. те законы, которые характеризуют сложные формы отвлеченного мышления и категориального поведения. Все их можно описывать, но нельзя объяснить. Этими утверждениями идеалистическая философия, как и идеалистическая психология, порывает как с естественными науками, так и с научной психологией, делая резкие различия между обеими формами познания и принципиально относясь к сложным формам познавательной деятельности иначе, чем к элементарным.

До сих пор речь шла о философских основах дуалистических утверждений; сейчас мы обратимся к подобным утверждениям психологов и физиологов.

Крупнейший психолог XIX в. Вильгельм Вундт разделял ту же дуалистическую позицию. Для него существовали элементарные процессы ощущения, восприятия, внимания и памяти — процес-

сы, которые подчиняются элементарным естественным законам и доступны для научного (иначе физиологического) объяснения. Однако в психических процессах человека есть и иные явления. Эти процессы проявляются в том, что Вундт называл «апперцепцией», т.е. активным познанием человека, исходящим из активных установок или воли. По мнению Вундта, эти процессы активного отвлеченного познания выходят за пределы чувственного опыта, относятся к высшим духовным явлениям, их можно описывать, но объяснять их нельзя потому, что в них проявляются основные априорные категории человеческого духа. Учение об апперцепции Вундта в начале XX в. получило широкое распространение и было положено в основу специального направления в психологии, получившего название Вюрцбургской школы.

Авторы, входившие в Вюрцбургскую школу, такие, как Кюльпе, Ах, Мессер, Бюллер, посвятили свои интересы анализу законов, лежащих в основе сложных форм сознания и мышления. В результате исследований они пришли к выводу, что сознание и мышление нельзя рассматривать как формы чувственного опыта, что мышление протекает без участия наглядных образов или слов и представляет собой специальную категорию психических процессов, в основе которых лежат категориальные свойства духа, которые и определяют его протекание. **Мышление**, по мнению представителей Вюрцбургской школы, сводится к «направленности», или «интенции», исходящей из духовной жизни человека; оно безобразно, внечувственно, имеет свои собственные закономерности, которые принципиально нельзя связывать с непосредственным опытом. Широко известны опыты, на основании которых психологи Вюрцбургской школы сделали свои выводы. В этих опытах испытуемыми были очень квалифицированные люди, профессора, доценты, умевшие наблюдать свой внутренний мир и формулировать наблюдаемые процессы. Этим испытуемым давались сложные задачи, например, им предлагалось понять смысл предложения: **«Мышление так необычайно трудно, что многие предпочитают просто делать заключение»**. Испытуемый думал, повторял про себя эту фразу и говорил: «Ага, конечно, правильно. Действительно, мышление настолько трудно, что проще избегать труда мыслить, лучше прямо заключать, делать, выводы». Или вторая фраза: **«Лавры чистой воли суть сухие листья, которые никогда не зеленеют»**. Легко видеть, что каждая часть этого предложения конкретна — «лавры», «сухие листья», «не зеленеют», но суть этого предложения вовсе не в «лавровых листьях» или в «зелени»: его суть заключается в том, что «чистая воля» — настолько отвлеченное понятие, что оно никогда не выражается в чувственном опыте и не сводится к нему. Когда испытуемых спрашивали, что именно они переживали, когда делали вывод из воспринятых положений, оказывалось, что они ничего не могли сказать об этом. Процесс абстрактного мышления казался настолько отвлеченным, что не имел никакой чувственной основы, не

вызывал никаких образов или слов; наоборот, надо было скорее отвлечься от образов, для того чтобы вникнуть в суть этих предложений. Как правило, вывод делался «интуитивно», на основе каких-то «логических переживаний», которые усматривает человек, воспринимающий эти предложения. Следовательно, у человека есть какое-то «логическое чувство», переживание правильности или неправильности мысли, такое же чувство, как то, которое мы переживаем, когда дается **силлогизм** - дедуктивное умозаключение, в котором из двух утверждений (посылок) выводится третье суждение (заключение), и человек непосредственно делает соответствующий логический вывод. Этот вывод делается не из личного опыта человека, а из «логического переживания»; и это «логическое переживание», по мнению Вюрцбургской школы, и есть изначальное свойство духовного мира, которое отличает человека от животного и чувственное от рационального. Такая же характеристика была получена представителями Вюрцбургской школы и тогда, когда они ставили более простые опыты, например, когда испытуемым предлагалось найти род к виду (например, «стул — мебель»), или вид к роду (например, «мебель — стул»), или часть к целому, или целое к части. И в этих случаях процесс рационального вывода протекал автоматически и, казалось бы, не основывался ни на чувственном опыте, ни на словесном рассуждении. Здесь мы сталкиваемся как будто бы с совсем иным рядом явлений, чем в психологии ощущений и восприятий.

Тот же дуализм, который имел место у этих психологов и резко отличал элементарный «чувственный опыт», навыки от «сверхчувственного, категориального» сознания или мышления, очень резко проявлялся и у физиологов. Для примера можно назвать хотя бы двух крупнейших зарубежных физиологов мира: Чарлза Шеррингтона — одного из основателей теории рефлекса и Джона Эклза — одного из основателей современного учения о синаптической проводимости нейрона. Оба они крупнейшие специалисты в области физиологической науки, но в одинаковой мере идеалисты при попытках объяснить высшие психические процессы, сознание и мышление.

Шеррингтон к концу своей жизни издал две книги: «Психика и мозг» и «Человек в самом себе». В обеих книгах он выдвигал положение, что физиолог принципиально не может объяснить духовный мир человека и что мир отвлеченных категорий, мир волевых действий есть отражение некоего идеального духовного мира, существующего вне человеческого мозга.

К таким же взглядам пришел в последнее время и Джон Эклз, который издал ряд работ, последней из которых является недавно вышедшая книга «Facing Reality» («Лицом к лицу с реальностью»). Эклз исходил из положения, что реальность — это не та реальность, которую мы чувственно воспринимаем, т.е. это не внешний мир, в котором живет человек. Основная реальность для Эклза — это реальность внутреннего мира, то, что человек переживает и что остается недоступным для

другого. Это и есть уже знакомое нам положение Эрнста Маха, лежащее в основе его субъективного идеализма.

Каким образом человек может непосредственно познавать, оценивать себя, переживать свои состояния? Источником этого, говорил Экклз, являются специальные нервные приборы, которые служат «детекторами» потустороннего духовного мира, и Экклз пытался даже вычислить размер этих детекторов. Он считал, что они сопоставимы по величине с синапсами, которые, по мнению Экклза, могут быть детекторами потустороннего духовного мира.

Легко видеть, к каким тупикам приходит дуализм, который исходит из противопоставления чувственного и рационального опыта, но отказывается от научного объяснения последнего. Совершенно понятно поэтому, что все эти положения как философов, так и психологов и физиологов нужно ценить за то, что они обратили внимание на важную сферу — сферу рационального, категориального опыта. Однако отрицательная сторона их позиции заключается в том, что, обратив внимание на самый факт отвлеченного, категориального мышления или чистого волевого акта, эти исследователи отказались подойти к научному объяснению этого вида психической реальности, не пытались подойти к этим явлениям как продукту сложного развития человека и человеческого общества и считали этот вид реальности порождением особенного «духовного опыта», который не имеет никаких материальных корней и относится к совершенно другой сфере бытия. Это положение закрывает дверь научному познанию важнейшей стороны психической жизни человека.

Совершенно понятно поэтому, что психологи, которые не могли удовлетвориться этими идеалистическими объяснениями, должны были искать новые пути, которые не закрывали бы двери для причинных детерминистических научных объяснений всех, в том числе и сложнейших, психических явлений.

Представители детерминистического направления исходили из основных положений философов-эмпириков, согласно которым «все, что есть в мышлении, раньше было в чувственном опыте» («Nihil est in intellectu, quod non fuerit primo in sensu»), и считали своей основной задачей изучение мышления теми же методами, с которыми можно подойти к элементарным явлениям чувственного опыта.

Если само основное положение эмпирической философии, противостоявшей идеалистическим позициям картезианства, не вызывает никаких сомнений, то попытки воплотить это положение в конкретные психологические исследования и те формы, которые оно приняло в «эмпирической»

или классической экспериментальной психологии, сразу же ставят науку перед другими, столь же непреодолимыми трудностями.

Пытаясь объяснить сложнейшие формы мышления, исследователи, примыкавшие к этому направлению, практически исходили из обратных механистических позиций.

На первых этапах эти позиции проявлялись в утверждении, что человеческая психика — это *tabula rasa*, на которой опыт записывает свои письма. Правильно утверждая, что без опыта в психике ничего возникнуть не может, эти исследователи подходили к своей задаче объяснить основные законы сложнейшего отвлеченного или «категориального» мышления с аналитических позиций или позиций редукционизма, считая, что для понимания законов мышления достаточно иметь два элементарных процесса (представление, или чувственный образ, с одной стороны, и ассоциацию, или связи чувственного опыта, — с другой) и что мышление — это не что иное, как ассоциация чувственных представлений.

Эти положения психологов-ассоциационистов, занимавшие центральное место в научной психологии XIX в. и примыкавшие к представлениям аналитического естествознания того времени (которое проявлялось наиболее отчетливо в вирховской «целлюлярной физиологии»), полностью отрицали специфичность и независимость сложнейших форм отвлеченного мышления. Все они исходили из того положения, что даже наиболее сложные формы мышления могут быть поняты как ассоциация наглядных представлений и что позиции «априорных категорий» (в частности, позиции Вюрцбургской школы) не отражают никакой реальности и поэтому являются принципиально неприемлемыми.

Следует отметить, что указанные позиции лежали в основе ряда школ психологов-«ассоциационистов» XIX в., среди которых можно назвать Гербарта в Германии, Бена в Англии и Тэна во Франции. Именно поэтому в трудах этих психологов, подробно останавливавшихся на законах ощущений, представлений и ассоциаций, нельзя было встретить ни главы, посвященной мышлению, ни описания того, что именно отличает психику животных от сознательной деятельности человека.

Интересно, что механистический подход ассоциационистов, видевших свою основную задачу в том, чтобы свести сложнейшие явления к составляющим их элементам, не ограничивался «эмпирической» и во многом субъективной психологией XIX в. Пожалуй, окончательный вывод, идущий в этом направлении, был сделан представителями «объективной» науки о поведении — американскими психологами-бихевиористами.

Бихевиористы с самого начала отказались изучать отвлеченное мышление, которое как будто бы должно являться предметом психологии. Для них предметом психологии являлось поведение, а само поведение понималось как нечто состоящее из реакций на стимулы, как результат повторений и подкреплений, иначе говоря, как процесс, строящийся по элементарной схеме условного рефлекса. Бихевиористы никогда не пытались подойти к анализу физиологических механизмов поведения (и в этом состоит их коренное отличие от учения о высшей нервной деятельности), они ограничились анализом внешней феноменологии поведения, трактуемой очень упрощенно, и пытались подойти ко всему поведению человека так же, как они подходили к поведению животного, считая, что оно исчерпывается простым образованием навыков. Поэтому, если раскрыть написанные бихевиористами учебники психологии до последнего времени включительно, можно увидеть в них главы об инстинктах, навыках, однако главы о воле, мышлении или сознании там найти нельзя. Для этих авторов отвлеченное («категориальное») поведение вообще не существует и, следовательно, быть предметом научного анализа не может.

Нельзя не отметить и положительное начало у психологов этого направления, которое заключалось в их попытке не только описывать, но и объяснять явления психической жизни. Однако их главный недостаток заключался в позиции редукционизма, т.е. сведении высших форм психических процессов со всей их сложностью к элементарным процессам, отказе от признания специфики сложнейшего сознательного категориального поведения.

2.1. Существует ли язык у животных?

Действительно ли язык (и связанные с ним формы сознательной деятельности) является для человека специфическим продуктом общественной истории?

Не существует ли язык и у животных, и если какие-то аналоги «языка» можно наблюдать в животном мире, чем эти аналоги отличаются от подлинного языка человека?

Мысль о том, что язык существует и у животных, очень часто встречается в литературе. Авторы нередко указывают на то, что, когда, например, вожак стаи журавлей начинает подавать звуковой сигнал, вся стая тревожно снимается с места и следует за ним. Олень — вожак, который чувствует опасность, — также издает крики, и все стадо следует за ним, воспринимая сигнал опасности. И наконец, пожалуй, самое интересное: очень часто утверждают, что и пчелы имеют своеобразный «язык», который проявляется в так называемых «танцах пчел». Пчела, которая вернулась со взятка из своего полета, как будто бы передает другим пчелам, откуда она прилетела, далеко ли до взятка и куда надо лететь. Эту информацию пчела выражает в «танцах», фигурах, которые она делает в

воздухе и которые отражают как направление, так и дальность необходимого полета. Как будто бы все эти факты говорят о том, что и животные имеют также язык, а если так, тогда все приведенные выше рассуждения оказываются несостоятельными.

Возникает вопрос: существует ли действительно язык у животных, и если он существует, может быть, это всего лишь некоторый аналог языка, «язык» в условном смысле этого слова, т.е. такая знаковая деятельность, которая, однако, не идет ни в какое сравнение с языком человека и качественно отличается от него? За последние десятилетия вопрос о «языке» животных привлек особенно острое внимание. Началом этой серии работ является работа Фриша о «языке» пчел (1923, 1967). Позднее появились исследования, посвященные звуковой коммуникации у птиц, и работы о речевой коммуникации у обезьян. Так, ряд работ американских психологов, которые были опубликованы в последние десять лет (Гарднер и Гарднер, 1969, 1971; Примак, 1969, 1971; и др.4), были посвящены анализу того, можно ли обучить обезьяну говорить, т.е. научить ее пользоваться знаком. Для этого обезьяне внушали, например, что овал означает «груша», квадратик — «орех», линия — «дать», а точка — «не хочу». Факты показали, что после длительного обучения обезьяны могли пользоваться этим «словарем», только не звуковым, а символическим, зрительным. Таким образом, вопрос о наличии языка как врожденной формы поведения у животных за последние годы стал оживленно обсуждаться и вызвал значительную дискуссию.

Наиболее существенным в этой проблеме является вопрос о различии между языком животных и языком человека. Под языком человека мы подразумеваем сложную систему кодов, обозначающую, признаки, действия или отношения несут функцию кодирования, передачи информации и введения ее в различные системы (на подробном анализе этих систем мы остановимся особо). Все эти признаки характерны только для языка человека. «Язык» животных, не имеющий этих признаков, — это квазыязык. Если человек говорит «портфель», то он не только обозначает определенную вещь, но и вводит ее в известную систему связей и отношений. Если человек говорит «коричневый» портфель, то он абстрагируется от этого портфеля, выделяя лишь его цвет. Если он говорит «лежит», он абстрагируется от самого предмета и его цвета, указывая на его положение. Если человек говорит «этот портфель лежит на столе» или «этот портфель стоит около стола», он выделяет отношение объектов, выражая целое сообщение. Следовательно, развитый язык человека является системой кодов, достаточной для того, чтобы передать, обозначить даже вне всякого действия. Характерно ли такое определение для языка животных? На этот вопрос можно ответить только отрицательно. Если язык человека обозначает вещи или действия, свойства, отношения и передает таким образом объективную информацию, перерабатывая ее, то естественный «язык» животных не обозначает

постоянной вещи, признака, свойства, отношения, а лишь выражает состояние или переживания животного. Поэтому он не передает объективную информацию, а лишь насыщает ее теми же переживаниями, которые наблюдаются у животного в то время, когда оно испускает звук (как это наблюдается у вожака стаи журавлей или стада оленей) и производит известное обусловленное аффектом движение. Журавль переживает тревогу, эта тревога проявляется в его крике, а этот крик возбуждает целую стаю. Олень, реагирующий на опасность поднятием ушей, поворотом головы, напряжением мышц тела и бегом, криком, выражает этим свое состояние, а остальные животные «заражаются» этим состоянием, вовлекаясь в его переживание. Следовательно, сигнал животных есть выражение аффективного состояния, вовлечение в него других животных и не больше.

То же самое можно с полным основанием отнести и к «языку» пчел. Пчела ориентируется в своем полете на ряд еще плохо известных нам признаков (вероятно, это наклон солнечного луча, может быть, магнитные поля и др.); она испытывает разную степень утомления, и когда пчела после дальнего полета прodelывает движения танца, она выражает в движении свое состояние; остальные пчелы, воспринимающие эти танцы, «заражаются» этим же состоянием, вовлекаются в него. Информация, передаваемая пчелой, — это информация не о предметах, действиях или отношениях, а о состоянии пчелы, вернувшейся из дальнего полета.

Иную интерпретацию следует дать последним опытам с обучением искусственному «языку» обезьян. Есть все основания думать, что в этом случае мы имеем дело со сложными формами выработки искусственных условных реакций, которые напоминают человеческий язык лишь своими внешними чертами, не составляя естественной деятельности обезьян. Эта проблема является сейчас предметом оживленных дискуссий, и мы не будем останавливаться на ней подробно. Нам пока мало известно о «языке» животных, «языке» пчел, «языке» дельфинов. Однако бесспорно то, что движения или звуки у пчел и дельфинов отражают лишь аффективные состояния и никогда не являются объективными кодами, обозначающими конкретные вещи или их связи.

Все это кардинально отличает язык человека (как систему объективных кодов, сложившихся в процессе общественной истории и обозначающих вещи, действия, свойства и отношения, т.е. категории) от «языка» животных, который является лишь набором знаков, выражающих аффективные состояния. Поэтому и «декодирование» этих знаков есть вовсе не расшифровка объективных кодов, а вовлечение других животных в соответствующие сопереживания. «Язык» животных, следовательно, не является средством обозначения предметов и абстрагирования свойств и поэтому ни в какой мере не может рассматриваться как средство, формирующее отвлеченное мышление. Он является лишь путем к созданию очень сложных форм аффективного общения. Таким образом, человек отли-

чается от животных наличием языка как системы кодов, обозначающих предметы и их отношения, с помощью которых предметы вводятся в известные системы или категории. Эта система кодов ведет к формированию отвлеченного мышления, к формированию «категориального» сознания.

В силу этого мы и будем рассматривать проблему сознания и отвлеченного мышления в тесной связи с проблемой языка.

3. Слово и его семантическое значение

Центральной проблемой является строение сознания, возможность человека выйти за пределы непосредственного, чувственного отражения действительности, анализ способности отражать мир в сложных, отвлеченных связях и отношениях, глубже, чем это может отражать чувственное восприятие. Мы говорили, что это отвлеченное и обобщенное отражение мира и отвлеченное мышление осуществляются при ближайшем участии языка.

Возникает главный вопрос: как же построен язык, который позволяет отвлекать и обобщать признаки внешнего мира, иначе говоря, формировать понятие? Какие особенности языка позволяют делать выводы, умозаключения и обеспечивают психологическую основу дискурсивного мышления? Наконец, какие особенности языка позволяют ему передавать опыт, накопленный поколениями, т.е. обеспечивают тот путь психологического развития, который отличает человека от животных?

Нам уже известно, что язык является сложной системой кодов, которая сформировалась в общественной истории. Обратимся теперь к более подробному анализу строения языка, остановившись на этой проблеме в той мере, в которой это необходимо для психологического анализа передачи информации и для изучения механизмов сознательной психической деятельности человека. Прежде всего нас будет интересовать слово и его семантическое строение, т.е. слово как носитель определенного значения. Как известно, слово является основным элементом языка. Слово обозначает вещи, слово выделяет признаки, действия, отношения. Слово объединяет объекты в известные системы, иначе говоря, кодирует наш опыт.

Как же возникло слово, являющееся основным средством кодирования и передачи опыта? Как же построена смысловая (семантическая) структура слова, что именно в структуре слова позволяет ему выполнять эту основную роль обозначения вещей, выделения признаков — качеств, действий, отношений? Что позволяет слову обобщать непосредственный опыт?

3.1. Происхождение слова. Путь от симпрактического к синсемантическому строению слова

О рождении слова и праязыке в праистории можно только догадываться. Однако несмотря на то, что существует значительное число теорий, которые пытаются объяснить происхождение слова, мы знаем о происхождении слова и о рождении языка очень мало. Ясно лишь, что слово, как клеточка языка, имеет не только аффективные корни. Если бы это было иначе, то тогда так называемый «язык» животного, который, как мы говорили, является выражением аффективных состояний, ничем не отличался бы от языка человека. Ясно, что эта линия выражения состояния в известных звуках или

жестах является тупиковой линией развития. Она не ведет к возникновению слова как системы кодов языка. Источники языка и слова другие.

Есть все основания думать, что слово как знак, обозначающий предмет, возникло из труда, из предметного действия и что в истории труда и общения, как на это многократно указывал Энгельс, нужно искать корни, которые привели к рождению первого слова. Можно думать, что слово, которое родилось из труда и трудового общения на первых этапах истории, было вплетено в практику; изолированно от практики оно еще не имело твердого самостоятельного существования. Иначе говоря, на начальных этапах развития языка слово носило симпрактический характер (слово получало своё значение только из ситуации конкретной практической деятельности). Можно думать, что на первых, далеких от нас этапах праистории человека слово получало свое значение только из ситуации конкретной практической деятельности: когда человек совершал какой-то элементарный трудовой акт совместно с другими людьми, слово вплеталось в этот акт. Если, например, коллективу нужно было поднять тяжелый предмет — ствол дерева, то слово «ах» могло обозначать или «осторожно», или «сильнее поднимай дерево», «напрягись», или «следи за предметом», но значение этого слова менялось в зависимости от ситуации и становилось понятным только из жеста (в частности, указательного жеста, направленного на предмет), из интонации и всей ситуации. Вот почему первичное слово, по-видимому, имело лишь неустойчивое диффузное значение, которое приобретало свою определенность лишь из симпрактического контекста.

Мы имеем мало прямых доказательств этого, потому что рождение языка отодвинуто от нас на десятки тысячелетий. Однако есть косвенные указания на то, что, по всей вероятности, это действительно так. Антрополог Б. Малиновский опубликовал одно наблюдение, которое проливает некоторый свет на ранний генезис слова. Он показал, что речь некоторых народов, стоящих на низком уровне культурного развития, трудно понять без знания ситуации, в которой эта речь произносится. Так, не понять, о чем говорят эти люди в темноте, когда нельзя видеть ситуации, жестов, ибо только в знании ситуации, а также интонации слово и приобретает свое определенное значение. Подобные факты в известной мере имеют место в трудных ситуациях, когда к речи должен присоединиться жест, делающий сообщение более понятным. По-видимому, вся дальнейшая история языка (и это надо принять как одно из самых основных положений) является историей эмансипации слова от практики, выделения речи как самостоятельной деятельности, наполняющей язык и его элементы — слова — как самостоятельной системы кодов, иначе говоря — историей формирования языка в таком виде, когда он стал заключать в себе все необходимые средства для обозначения предмета и выражения мысли. Этот путь эмансипации слова от симпрактического контекста можно назвать

переходом к языку как к синсемантической системе, т.е. системе знаков, связанных друг с другом по значению и образующих систему кодов, которые можно понимать, даже и не зная ситуации. В наиболее развитом виде этот самостоятельный синсемантический характер кодов, лишенный всякого «симпрактического контекста», выступает в письменном языке. Читая письмо, человек не имеет никакого непосредственного общения с тем, кто его написал, он не знает ситуации, в которой писалось письмо, не видит жестов, не слышит интонаций; однако он понимает смысл письма из той синсемантической системы знаков, которая воплощена в письме благодаря лексико-грамматической структуре языка. Вся история языка, следовательно, есть история перехода от симпрактического контекста, от вплетения слова в практическую ситуацию к выделению системы языка как самостоятельной системы кодов. Это, как мы увидим далее, и играет решающую роль в психологическом рассмотрении слова как элемента, формирующего сознание.

Мы мало знаем о праистории языка, общественно-историческом его происхождении и можем только догадываться о нем. Зато мы много знаем о происхождении слова в онтогенезе, о раннем развитии ребенка. Онтогенез (развитие ребенка) никогда не повторяет филогенез (развитие рода), как это одно время было принято думать: общественно-историческое развитие языка, как и всех психических процессов, происходит в процессе труда, общественной деятельности: развитие же языка в онтогенезе у ребенка происходит вне труда, к которому он еще не готов, в процессе усвоения общечеловеческого опыта и общения со взрослыми. Однако онтогенетическое формирование языка — это тоже в определенной степени путь постепенной эмансипации от симпрактического контекста и выработки синсемантической системы кодов, о которой мы говорили выше.

Может показаться, что язык маленького ребенка начинается с «гуления», с тех звуков, которые ребенок произносит в младенческом возрасте, и что развитие языка есть лишь прямое продолжение этих первоначальных звуков. Так думали многие поколения психологов. Однако это неверно. «Гуление» есть как раз выражение состояния ребенка, а вовсе не обозначение предметов, и характерным является тот факт, что звуки, которые рождаются в «гулении», дальше не закрепляются в речи ребенка. Первые слова ребенка часто отличаются фонематической структурой¹ от «гуления» младенца. Более того, нужно даже затормозить биологические звуки, возникающие при «гулении», чтобы ребенок мог выработать те звуки, которые входят в систему языка. Мы можем привести один пример, иллюстрирующий это положение. Часто думали, что произвольные движения ребенка рождаются из элементарных рефлексов, например хватательного рефлекса. Известно, что у младенца нескольких дней от роду можно наблюдать такой выраженный хватательный рефлекс, что можно даже поднять ребенка, держащегося за пальцы взрослого, которые он рефлексорно схватывает. Однако

было показано, что этот хватательный рефлекс ни в какой мере не может быть понят как прототип будущих произвольных движений. Наоборот, нужно, чтобы хватательный рефлекс был заторможен, и только тогда появляется произвольное движение. Хватательный рефлекс — это подкорковый акт; произвольное движение регулируется корой больших полушарий; оно имеет совсем другой генезис и появляется только тогда, когда хватательный рефлекс заторможен, когда на смену ему приходит формирование корково-подкорковых связей.

Совершенно то же самое относится и к рождению языка. Первые слова рождаются не из звуков «гуления», а из тех звуков языка, которые ребенок усваивает из слышимой им речи взрослого. Но этот процесс усвоения звуков языка, составляющий важнейший процесс формирования речи, происходит далеко не сразу и имеет очень длительную историю.

Начало настоящего языка ребенка и возникновение первого слова, которое является элементом этого языка, всегда связано с действием ребенка и с его общением со взрослыми. Первые слова ребенка, в отличие от «гуления», не выражают его состояния, а обращены к предмету и обозначают предмет. Однако эти слова сначала носят симпрактический характер, они тесно вплетены в практику. Если ребенок играет с лошадкой и говорит «тпру», то это «тпру» может обозначать и «лошадь», и «сани», и «садись», и «поедем», и «остановись» в зависимости от того, в какой ситуации и с какой интонацией оно произносится, какими жестами оно сопровождается. Поэтому хотя первое слово ребенка и направлено на предмет, оно еще остается неразрывным с действием, т.е. носит симпрактический характер. Только на следующем этапе слово начинает отрываться от действия и постепенно приобретать самостоятельность. Этот процесс мы не можем проследить в истории общества и можем лишь догадываться о нем, у ребенка же он прослеживается со всей отчетливостью. Через некоторое время после появления элементарных, диффузных, симпрактических слов (примерно в 1 г. 6 — 1 г. 8 мес.) ребенок впервые начинает усваивать элементарную морфологию слова, и тогда он вместо «тпру» начинает говорить «тпрунька», прибавляя к этому диффузному слову «тпру» суффикс «нька»; в этом случае слово «тпрунька» уже начинает обозначать не «садись», не «поехали», не «остановились», а «лошадь», «сани» или «тележка». Оно приобретает характер существительного, начинает иметь предметное значение именно в связи с усвоением суффикса, т.е. усвоением элементарной морфологии существительного; оно перестает обозначать ситуацию и становится самостоятельным, независимым от своего симпрактического контекста. Характерно, что именно к этому периоду, когда слово начинает приобретать морфологические дифференцированные формы, относится огромный скачок в словаре ребенка. Если до этого в словаре ребенка преобладали аморфные слова, которые могли обозначать что угодно (как например, слово «тпру») и поэтому в этот период он мог обойтись

небольшим количеством слов, имевших разные значения в зависимости от ситуации, жеста и интонации, то теперь значение слова сужается и словарь увеличивается. Происходит усвоение грамматики родного языка и строение слова из симпрактического становится синсемантическим; ребенок оказывается вынужденным обогатить свой словарь, т.е. приобрести другие слова, которые адекватно отражали бы не только предмет, но и качество, действие, отношение. Именно этим объясняется тот удивительный скачок в развитии словаря ребенка, который наблюдался всеми авторами, в возрасте 1 г. 6 — 1 г. 8 мес. До этого периода количество слов, зарегистрированных у ребенка, было порядка 12 — 15; в это время оно сразу доходит до 60, 80, 150, 200. Этот скачок объема словаря ребенка, который был подробно изучен большим количеством авторов, начиная от В. Штерна (1907), Мак-Карти (1954) и кончая Р. Брауном (1973), и объясняется переходом от симпрактической к синсемантической речи. Таким образом, наблюдения над онтогенезом дают дополнительные факты, которые позволяют считать, что слово рождается из симпрактического контекста, постепенно выделяется из практики, становится самостоятельным знаком, обозначающим предмет, действие или качество (а в дальнейшем и отношения), и к этому моменту относится и настоящее рождение дифференцированного слова как элемента сложной системы кодов языка. Этот процесс освобождения слова от симпрактического контекста и превращения его в элемент самостоятельных кодов, обеспечивающих общение ребенка, уже был подробно описан нами (Лурия, Юдович, 1956).

3.1.1. Семантическая структура и функция слова

Какова же психологическая структура слова, каково его семантическое строение?

Выше говорилось, что каждое слово обозначает вещь, качество, действие или отношение. Однако не имеет ли слово более сложной смысловой структуры, чем простое обозначение? Что именно приобретает человек, который вырабатывает способность обозначать предметную ситуацию словами? Как изменяются при этом функции слова?

Основной функцией слова является его обозначающая роль (которую некоторые авторы называют «аннотативной» или «референтной» функцией слова). Слово действительно обозначает предмет, действие, качество или отношение. В психологии эту функцию слова вслед за Л.С. Выготским принято обозначать как предметную отнесенность, как функцию представления, замещения предмета. Слово, как элемент языка человека, всегда обращено вовне, к определенному предмету и обозначает или предмет (например, «портфель», «собака»), или действие («лежит», «бежит»), или качество, свойство объекта («портфель кожаный», «собака злая»), или отношение объектов («портфель лежит на столе», «собака бежит из леса»). Это выражается в том, что слово, имеющее предметную отнесенность, может принимать форму или существительного (тогда оно обычно обозначает предмет),

или глагола (тогда оно обозначает действие), или прилагательного (тогда оно обозначает свойство), или связи — предлога, союза (тогда оно обозначает известные отношения). Это решающий признак, который отличает язык человека от так называемого «языка» животных.

Что выигрывает человек благодаря слову, имеющему функцию предметной отнесенности? Огромный выигрыш человека, обладающего развитым языком, заключается в том, что его мир удваивается. Человек без слова имел дело только с теми вещами, которые он непосредственно видел, с которыми он мог манипулировать. С помощью языка, который обозначает предметы, он может иметь дело с предметами, которые непосредственно не воспринимались и которые ранее не входили в состав его собственного опыта. Слово удваивает мир и позволяет человеку мысленно оперировать с предметами даже в их отсутствие. Животное имеет один мир — мир чувственно воспринимаемых предметов и ситуаций; человек имеет двойной мир, в который входит и мир непосредственно воспринимаемых предметов, и мир образов, объектов отношений и качеств, которые обозначаются словами. Таким образом, слово — это особая форма отражения действительности. Человек может произвольно вызывать эти образы независимо от их реального наличия и, таким образом, может произвольно управлять этим вторым миром. Он может управлять не только своим восприятием, представлением, но и своей памятью и действиями, ибо, произнося слова «поднять руку», «сжать руку в кулак», он может выполнить эти действия мысленно. Иначе говоря, из слова рождается не только удвоение мира, но и волевое действие, которое человек не мог бы осуществить, если бы у него не было языка. На этой регулирующей функции речи человека, которая формируется на основе языка, мы еще остановимся в последующих главах этой книги. Далее, благодаря слову, человек может оперировать вещами мысленно при их отсутствии, совершать умственные действия, умственные эксперименты над вещами. Человек может вообразить, что он поднимает килограммовую или пудовую гирю и чувствовать, что он легко может сделать первое, но лишь с трудом — второе, хотя в действительности гирь перед ним нет; человек может это сделать с помощью мобилизации всех тех признаков, которые таит в себе слово. Наконец последнее: удваивая мир, слово дает возможность передавать опыт от индивида к индивиду и обеспечивает возможность усвоения опыта поколений.

Как мы указывали, животное имеет только два пути организации своего поведения: использование наследственно закрепленного опыта, отложившегося в его инстинктах, и приобретение новых форм поведения путем личного опыта. В отличие от этого, человек необязательно должен всегда обращаться к личному опыту, он может получить его от других людей, используя речь как источник информации. Подавляющая часть формирования нового опыта человека (как житейского, так и получаемого в процессе школьного обучения) использует именно этот специфически человеческий

путь. Роль слова в психическом развитии человека была детально изучена А.Н.Леонтьевым. Следовательно, с появлением языка как системы кодов, обозначающих предметы, действия, качества, отношения, человек получает как бы новое измерение сознания, у него создаются доступные для управления субъективные образы объективного мира, иначе говоря, представления, которыми он может манипулировать даже в отсутствие наглядных восприятий. И это есть решающий выигрыш, который получает человек с помощью языка.

3.1.2. Слово и «смысловое поле»

Было бы, однако, неверным считать, что слово является лишь «ярлыком», обозначающим отдельный предмет, действие или качество. На самом деле смысловая (семантическая) структура слова гораздо сложнее, и исследование подлинной смысловой структуры слова, как это многократно отмечалось в лингвистике, требует гораздо более широкого подхода. Хорошо известно, что многие слова имеют не одно, а несколько значений, обозначая совсем различные предметы. Так, в русском языке слово «коса» может обозначать или косу девушки, или инструмент, которым косят траву, или узкую песчаную отмель. Слово «ключ» также может обозначать и инструмент, которым отпирают дверь, и родник или источник и т.д. Так, слово «ручка» может одинаково обозначать и маленькую руку ребенка, и прибор для писания, и дверную ручку кресла, иначе говоря, совершенно различные предметы, общим для которых является лишь то, что все они какими-либо сторонами связаны с рукой человека. Слово «поднять», которое с первого взгляда обозначает одно, определенное действие, на самом деле также многозначно. Оно может обозначать «наклониться и поднять что-нибудь с пола» («поднять платок»), или «поднять что-либо вверх» («поднять руку»), или «поставить какой-либо вопрос» («поднять вопрос») или вообще «начать какое-либо действие, меняющее прежнее состояние» («поднять шум»), а слово «сдать» — либо «успешно выдержать экзамен» («он сдал экзамен»), либо «ухудшить свое состояние» («он сильно сдал») и т.д.

В английском языке эта многозначность слов выражена еще более отчетливо, и слово *to go* может обозначать и «идти», и «ехать», и «начинать» и т.д.; слово *to run* может обозначать «быстро идти», «играть роль», «предлагать проект», а слово *bachelor* может иметь значение «рыцарь», «холостяк», «человек имеющий низшую научную степень», «молодой тюлень» и т.д. (Катц и Фодор, 1970; и др.). Такие слова хорошо известны как в русском языке, так и в других языках; они называются «омонимами». Множественное значение одного и того же слова встречается не так редко, и «полисемия» является скорее правилом языка, чем исключением (Виноградов, 1947; Щерба, 1958; и др.).

3.1.3. Категориальное значение слова

До сих пор мы говорили лишь о непосредственной функции слова в обозначении того или иного предмета, действия или качества, иначе говоря, о «денотативном» и «коннотативном» значениях слова. Однако сказанное не исчерпывает ту роль, которую играет слово в отражении действительности и в переработке информации. Наиболее существенную роль играет вторая важнейшая функция слова, которую Л.С. Выготский назвал собственно значением и которую мы можем обозначить термином «категориальное» или «понятийное» значение. Под значением слова, которое выходит за пределы предметной отнесенности, мы понимаем способность слова не только замещать или представлять предметы, не только возбуждать близкие ассоциации, но и анализировать предметы, вникать глубже в свойства предметов, абстрагировать и обобщать их признаки. Слово не только замещает вещь, но и анализирует вещь, вводит эту вещь в систему сложных связей и отношений. Отвлекающую или абстрагирующую, обобщающую и анализирующую функцию слова мы и называем категориальным значением. Разберемся в этой особенности слова подробнее. Мы уже говорили, что каждое слово не только обозначает предмет, но выделяет его существенный признак. Это очень легко видеть, анализируя корень слова. Например, слово «стол» имеет корень -стл-, а этот корень связан со словами «стлать», «постилать», «настил». Говоря слово «стол», человек выделяет его качество: это что-то, что имеет признак настила, на котором можно писать, обедать или работать, но обозначаемый этим словом предмет всегда должен обладать соответствующим признаком. Слово «часы» не просто обозначает определенный предмет, который, например, лежит перед нами; это слово указывает на то, что этот предмет имеет функцию измерения времени («часа»), и если он не имеет отношения к измерению времени, значит, это не часы. Слово «сутки» имеет корень «со-ткать» («стыкать», переносное — стык дня и ночи). Слово «корова» является родственным с латинским словом *cornu* = рог и, по сути говоря, раньше означало «рогатый», тем самым оно выделяет признак, характерный для коровы. Эту анализирующую или абстрагирующую функцию слова наиболее легко видеть в недавно возникших сложных словах. Так, «самовар» обозначает предмет, который сам варит; «телефон» обозначает предмет, который на расстоянии (теле-) передает звук; «телевизор» обозначает предмет, который дает возможность на расстоянии видеть, и т.д. В таких новых словах особенно наглядно выступает эта анализирующая функция слова.

Значит, каждое слово не только обозначает предмет, но производит и гораздо более глубокую работу. Оно выделяет признак, существенный для этого предмета, анализирует данный предмет. В старых словах или словах, заимствованных из других языков, мы иногда не ощущаем этого, в новых

словах мы видим это более отчетливо. Эта функция выделения признака или абстракции признака является важнейшей функцией слова.

Каждое слово не только обозначает вещь, не только выделяет ее признаки. Оно обобщает вещи, относит их к определенной категории, иначе говоря, несет сложную интеллектуальную функцию обобщения. Слово «часы» обозначает любые часы (башенные, настольные, ручные, карманные, золотые или серебряные, квадратные или круглые). Слово «стол» обозначает любой стол (письменный, обеденный, карточный, квадратный или круглый, на трех или на четырех ножках, раздвижной или простой). Значит, слово не только выделяет признак, но и обобщает вещи, относит их к определенной категории, и эта обобщающая функция слова является одной из важнейших. Обобщая предметы, слово является орудием абстракции, а обобщение есть важнейшая операция сознания. Именно поэтому, называя тот или другой предмет словом, мы тем самым относим этот предмет к определенной категории. Это и означает, что слово является не только средством замещения вещи, представления; оно является и клеточкой мышления, потому что важнейшими функциями мышления являются именно абстракция и обобщение. Следует, однако, отметить и другую сторону интересующей нас проблемы. Слово является не только орудием мышления, но и средством общения. Всякое общение — иначе говоря, передача информации необходимо требует, чтобы слово не только указывало на определенный предмет, но и обобщало сведения об этом предмете. Если бы человек, говоря «часы», имел в виду, например, лишь одни определенные часы, а воспринимающий это слово, не имеющий соответствующего опыта, не понимал бы обобщенного смысла этого слова, он никогда бы не смог передать собеседнику свою мысль. Однако слова «часы» и «стол» имеют обобщенное значение, и это является условием понимания, условием того, что человек, называя предмет, может передать свою мысль другому человеку. Даже если этот другой человек представляет названную вещь иначе (например, говорящий имеет в виду карманные часы, а воспринимающий — настольные или башенные часы), все равно предмет, отнесенный к определенной категории, позволяет говорящему передать определенную обобщенную информацию. Значит, абстрагируя признак и обобщая предмет, слово становится орудием мышления и средством общения.

Существует, однако, еще более глубокая и важная функция значения слова. В развитом языке, который является системой кодов, слово не только выделяет признак и не только обобщает вещь, относя ее к определенной категории, оно производит автоматическую и незаметную для человека работу по анализу предмета, передавая ему опыт поколений, который сложился в отношении этого предмета в истории общества.

Покажем это только на одном примере. Слово «чернильница» прежде всего обозначает определенный предмет, относит слушающего к одному конкретному предмету, например к чернильнице, стоящей на столе. Но это слово выделяет в этом предмете существенные признаки, обобщает предметы, т.е. обозначает любую чернильницу, из чего бы она ни была сделана и какую бы форму она ни имела. Однако это еще не все. Разберем, что именно человек передает, когда говорит слово «чернильница». Слово «чернильница» имеет корень, а этот корень черн- выделяет определенный признак, он указывает, что этот предмет связан с какой-то краской, следовательно, этот признак вводит предмет в определенную категорию предметов, которые имеют дело с цветом (черный, красный, зеленый и т.д.). Значит, эта чернильница есть какой-то предмет, который имеет отношение к краске, к цвету. Но слово «чернильница» рядом с корнем черн- имеет и суффикс -ил-, который вводит этот предмет в другую категорию. Он обозначает некоторую орудийность (чернила, белила, шило, мотовило), т.е. предмет, который служит орудием для чего-то. Тем самым суффикс -ил- вводит слово в еще одну категорию, уже не имеющую отношения к цвету, а имеющую отношение к орудийности, и это наслаивает на слово «чернильница» еще один признак, указывая, что названный предмет, имеющий отношение к краскам, имеет и «орудийное» значение. Однако слово «чернильница» имеет и второй суффикс -ниц-, который вводит этот предмет еще в одну категорию, т.е. он относит этот предмет к категории вместилищ (чернильница, сахарница, пепельница, перечница). Таким образом, когда человек говорит «чернильница», он не только указывает на определенный предмет, он анализирует те системы связей, категорий, в которые этот предмет входит. Тем самым через слово передается весь опыт поколений, который был накоплен в отношении чернильницы: становится ясным, что это — вещь, имеющая отношение к краскам, орудийности и вместилищу. Таким образом, называя предмет, человек анализирует его, причем делает это не на основании конкретного собственного опыта, а передает опыт, накопленный в общественной истории в отношении его функций, и передает, таким образом, систему общественно упрочившихся знаний о функциях этого предмета. Следовательно, слово не только обозначает предмет, но и выполняет сложнейшую функцию анализа предмета, передает опыт, который сформировался в процессе исторического развития поколений.

Наконец, у приведенного слова остается еще один компонент, который до сих пор не был подвергнут анализу. Во многих развитых языках (таких, как русский, немецкий, тюркский) слово имеет еще одну часть — флексию, которая может меняться при употреблении слова чернильница, чернильниц-е, чернильниц-},,, черниль-ниц-ем, чернильниц-ы), тем самым изменяя отношение, которое данный предмет имеет к окружающей ситуации². Присоединяя к слову флексии, мы ничего не меняем в самом значении слова; чернильница, как предмет относящийся к краскам, орудийности,

вместилищам, сохраняется, однако функциональная роль названного предмета меняется. В одном случае «чернильница» — так называемая словарная или нулевая форма, и слово просто указывает на существование данного предмета; слово «чернильниц-у» (в винительном падеже — «я вижу чернильницу») означает, что этот предмет является объектом какого-то действия; «чер-нильниц-ы» (в родительном падеже) означает, что этот предмет рассматривается как часть («край чернильницы»), или здесь дано указание на отсутствие предмета; с помощью формы «черниль-ниц-ем» человек придает этому предмету орудийное значение (значение предмета, который используется для каких-то целей). Иначе говоря, флексия создает новые психологические возможности для функционального обозначения предмета, она дает возможность не только отнести предмет к известной категории, но и указать на ту форму действия, которую играет предмет в данном контексте. Это и позволяет сказать, что язык является системой кодов, достаточных для того, чтобы самостоятельно проанализировать предмет и выразить любые его признаки, свойства, отношения. Итак, обозначая предмет, слово выделяет в нем соответствующие свойства, ставит его в нужные отношения к другим предметам, относит его к известным категориям.

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А. Р. Лурия – «Язык и сознание». Издательство Московского университета. Год выпуска: 1979, 1998 (переиздание)
2. Н.В. Уфимцева «Языковое сознание: динамика и вариативность». Москва, 2011г.
3. <https://skillbox.ru/media/education/aleksandr-luriya-kak-sovetskiy-uchenyy-zalozhil-osnovy-sovremennyh-neyronauk-ob-obrazovanii/>